

Т.С. Злотникова

РОССИЙСКИЙ ФИЛОСОФ В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ

Аннотация. Предметом исследования является оригинальный интеллектуальный дискурс современного философа С. Никольского, предпринятый в отношении русской классической литературы в масштабной книге «Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX-XX вв.». Выявляется доминанта этого дискурса – концепт «русское мировоззрение». Подчёркивается значимость понимания русских писателей как философов (от Гончарова до Платонова). Определена представленная в книге система признаков или аспектов русского мировоззрения, главным из которых мы считаем бинарность (включая оппозицию «жизнь/смерть»). Отмечено своеобразие концептуального подхода к Лермонтову, славянофилам, Герцену, Толстому, Платонову, Ахматовой.

Методами исследования в статье, в соответствии с особенностями рассматриваемой книги, являются культурфилософский, культурно-антропологический, герменевтический, семиотический. Частные методы – литературоведческий и искусствоведческий анализ художественных текстов.

Новизна определяется полемикой, которую автор статьи предлагает в отношении книги С. Никольского. Мы вступаем в диалог с автором книги по поводу его оценки взаимоотношений «писатель-власть», которые он считает исключительными у Платонова; по поводу признания персонажей Чехова преимущественно позитивными или негативными; по поводу отсутствия в книге специальных частей, посвящённых Пушкину, Гоголю, Горькому.

Ключевые слова: философия, литература, смысл, Россия, мировоззрение, бинарность, жизнь, смерть, власть, Никольский.

Abstract. The subject of this research is the original intellectual discourse of the contemporary philosopher S. Nickolsky, pertaining to the Russian classical literature in the book “Horizons of Meanings. Philosophical Interpretations of Russian literature of the XIX-XX centuries”. The author determines the dominant of this discourse – the concept of the “Russian worldview”, as well as underlines the importance of understanding of the Russian writers as philosophers (from Goncharov to Platonov). The presented in the book system of signs or aspect of the Russian worldview, the main of which is considered the binary (including an opposition of “life/death”) is being defined. The author notes the uniqueness of a conceptual approach towards Lermontov, Slavophiles, Herzen, Tolstoy, Platonov, and Akhmatova. The scientific novelty is defined by the polemics suggested by the author with regards to S. Nickolsky’s book. We start a dialogue with the author of the book concerning his assessment of the relations between the “writer” and the “power”, which he considers exceptional in the works of Platonov; with regards to recognition of Chekhov’s characters primarily positive or negative; with regards to the absence in the book of special parts dedicated to Pushkin, Gogol, and Gorky.

Key words: power, death, life, binary, outlook, Russia, meaning, literature, Philosophy, Nickolsky.

Главная философская проблема книги философа С. Никольского – *русское мировоззрение*, его признаки, свойства, пути изучения. Главная методологическая проблема книги – интеграция философии и литературы, именно так, а не философии и филологии, ибо эта проблема для автора не стоит, поскольку а priori решена.

Главная историко-культурная проблема книги – бытие и сознание русского народа в широком

его понимании, которое включает и постоянно интересующее автора крестьянство, и не менее постоянно интересующую интеллигенцию, и представителей не всегда буквально называемых, но мысленно включаемых в единый строй либо нестройную массу людей, населявших Россию/СССР в течение XIX и значительной части XX вв.

Прежде всего, обращает на себя внимание работа С. Никольского с концептом «*русское мировоз-*

Выполнено по гранту РФФ № 14-18-01833.

зрение», который, несомненно, является отправной точкой при определении «горизонтов смыслов» (перефразируем название книги).

Во-первых, автор предполагает в этом словосочетании именно качества концепта, предлагая своё понимание его семантической самости: «То, что русское мировоззрение как одно из духовных проявлений всех народов, населяющих Россию – а не только этнических русских, – существует и отличается от любого иностранного – очевидный факт...» [4, с. 19]. Автор выражает своё отношение к *национальному* мировоззрению как системе интеллектуальных и эмоциональных интенций, проявляющихся «в обыденно-типичных или экзистенциально-экстремальных ситуациях» [4, с. 20], что само по себе значимо в контексте дискуссий о понятии идентичности.

Важно, и это – *во-вторых*, – стремление охарактеризовать именно русское (а не «российское», как чаще всего говорится сегодня) мировоззрение как целостность, при всей его, мировоззрения, многослойности и общеизвестной противоречивости. Акцентируя, что «русское» применительно к мировоззрению трактуется «не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле» [4, с. 21], автор работает с концептом на протяжении всей книги. И это – именно так, хотя в некоторых случаях (и их относительно немного) словосочетание «русское мировоззрение» артикулировано, в большинстве же случаев – присутствует имплицитно, на что мы далее обратим внимание, «прочитав» это в контексте анализа судеб, идей, результатов деятельности носителей этого мировоззрения. Нам близки и почти не вызывают полемики реакции те признаки русского мировоззрения, которые С. Никольский выстраивает в единую цепочку, начиная с них свой анализ и дополняя ими текст; перечисляя такие «типично национальные» существительные, как «душа, судьба, тоска, счастье», дополняя их глаголами «собираться, постараться, сложилось, довелось, получилось, появилось» [4, с. 20], автор использует имеющиеся лингвистические выкладки, дополняет их своими представлениями. Однако, не все выявленные С. Никольским признаки русского мировоззрения представлены в самом начале его книги. В главе о Н. Лескове появляется слово из лексикона писателя, которые в высшей степени значимо для трагикомического русского мировоззрения: «некуда»; недаром автор заключает комментарием к этому слову главу о русском классике: «Непреодолимой преградой это слово стоит на пути развития российского общества и государства» [4, с. 438].

Особое место в числе семантически обозначенных признаков русского мировоззрения за-

нимает удивительное и странное «гиль». В книге происходит буквально игра со словом, когда не просто подчёркивается этимологическая связь «нигилизма», казавшегося когда-то хоть и жёстким, но интеллектуально и социально достойным явлением, и «словесного неряшества», обозначаемого в русской традиции словом «гиль» [4, с. 345] и «гилисты» – ничто [4, с. 362]. Интересно, что особое внимание этому слову С. Никольский уделяет не в связи с творчеством И. Тургенева, который, по традиции, воспринимается аналитиком нового и опасно воспринимаемого «нигилизма», а в связи с творчеством Н. Лескова, да ещё в контексте его сказовых опытов, в частности, «Левши». Привыкнув к тургеневскому «нигилисты», мы свежо воспринимаем лесковское «гилисты» (автор книги цитирует писателя: «ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек» [4, с. 358]).

В кругу писателей, для которых «гиль» становится антижизненным, но характерно русским понятием, по версии С. Никольского, оказывается и Ф. Достоевский, у которого автор видит не синоним, разумеется, но аналог, куда более привычный лексически, но столь же отталкивающий семантически, – «пакость», какой Достоевский обзывает не ожидаемую «бесовщину», которой Никольский не занимается, а... «либерализм» [4, с. 323]. Ненавязчиво, но определённо в общий ряд с пакостью выстраивается «гниль» (именно так, но наличие лишней буквы и привычность словесной формы не должны обманывать, речь идёт о рядоположенном понятии).

Таким образом, понятийный ряд, характеризующий русское мировоззрение включает негативно окрашенные слова в такой же мере, как и окрашенные позитивно. В перечне маркеров русского мировоззрения оказывается существенно наполненный спектр слов-кодов, к которым мы добавили бы «скуку», которую полагаем необходимым развести с упомянутой «тоской» [2], и «авось», который и в русской литературе, от Н. Лескова до А. Вознесенского, и в научной, хотя и не слишком ярко проявленной традиции, признаётся сугубо русским понятием-состоянием.

В-третьих же, и это не только следует из подзаголовка книги («Философские интерпретации отечественной литературы XIX-XX вв.»), но последовательно, убедительно, подчас резко полемично и откровенно-эмоционально реализуется во всём корпусе материалов, – С. Никольский без тени сомнения связывает русское мировоззрение как культурфилософский концепт с русской литературой как средоточием и источником этого самого мировоззрения. Поскольку русское мировоззрение

есть функция от массового сознания, а художник воплощает интенции этого самого массового сознания, то радикальных отличий того, как русское мировоззрение отражается у отдельных писателей, нет. Но есть существенные особенности. Они связаны, в частности, с тем, что русских писателей С. Никольский прямо называет философами (А. Платонов – [4, с. 475]), называет А. Гончарова одним «из самых философичных русских писателей XIX столетия» [4, с. 156].

Пolemичность, которая проявляется, скажем, в отборе произведений-доказательств, составляет одно из существенных достоинств книги, где рядом с само собой разумеющимися произведениями А. Чехова (вроде «Вишнёвого сада» или «Тоски») возникает, казалось бы, забавная «безделушка» – «Злоумышленник», где С. Никольский, тем не менее, видит «несопоставимость разных культурных оснований для правовых идей, понятий о долге и справедливости» [4, с. 52].

Пolemичности книги будет далее уделено особое внимание. Пока же отметим, что литературные произведения и их авторы-классики являются в сочинении С. Никольского не поводом для построения «отдельных» концепций и не источником «удобных» цитат, а собственно проблемным полем, на котором ведётся исследование. Это составляет оригинальность книги и вписывает её в добрую русскую философскую традицию, согласно которой и Н. Бердяев писал о русских классиках, от Ф. Достоевского до А. Белого [1], и В. Розанов сочинял тексты о том же Ф. Достоевском, Л. Толстом, совсем близких по времени Л. Андрееву и Д. Мережковском [5]. Да, собственно, и зарождение философской мысли в России С. Никольский по традиции (у которой, впрочем, есть противники, считающие, что в России философии в XIX в. вообще не было) соотносит с литературным опытом П. Чаадаева под названием «Философические письма» [4, с. 43].

Несмотря на то, что С. Никольский не выстраивает специально оформленную *систему признаков или аспектов русского мировоззрения*, понимание автором этой системы отчётливо складывается при изучении книги.

Одним из важнейших признаков русского мировоззрения, очевидно, следует считать его *бинарность*, на которую, правда не употребляя это понятие, по разным поводам обращает внимание автор. То – и это исходный, причём не дихотомический поворот – соотносит литературу и философию, причём именно русскую литературу. То упоминается о «нелюбви» к России, отмечавшейся у П. Чаадаева современниками, пребывавшими в состоянии «блаженного патриотизма» [4, с. 59]. То

указывается на интеграцию народных представлений о действительности и представлений творческих субъектов [4, с. 25]. То персональный аспект бинарности возникает в связи с духовным путём Л. Толстого, о котором верно сказано в экзистенциальном смысле: «это или побег из своей среды, или намерение его совершить» [4, с. 198]. То, следуя традиции противопоставления столичного демонического циника, Адуева-старшего, и наивного посланца патриархальной старины Адуева-младшего, обозначает бинарность персонажей А. Гончарова [4, с. 159]. То применительно к «подпольному» человеку Ф. Достоевского предлагается бинарная характеристика мотивов и сфер проявления этого самого человека: по мысли автора книги у Достоевского актуализирована подпольность «обыденная, повседневная, бытовая» (Мармеладов, Федор Павлович Карамазов) и подпольность «философическая, идейная, сущностная» (Свидригайлов, Иван Карамазов, Ставрогин, Верховенский) [4, с. 322].

Особенно масштабно целый комплект бинарных оппозиций как непосредственное воплощение смыслов русского мировоззрения предстаёт в главе, посвящённой Л. Толстому; а среди этих оппозиций основная (она даст свои рефлексии в главах, посвящённых А. Платонову, А. Ахматовой) – «жизнь/смерть». Через неё рассматриваются и толстовские смыслы – «природа», «народ» – в их многочисленных сочетаниях. Своеобразие работы с этой оппозицией заключается в том, что С. Никольский открыто называет смерть «скрепой» платоновского мира [4, с. 474], причём утверждает, что это – «одна-единственная общая скрепа разнообразного платоновского мира» [4, с. 468]. Представляется, что бинарная оппозиция «жизнь/смерть» поддерживается и оттеняется в книге С. Никольского ещё одной, по сути – аналогичной, хотя семантически иной бинарной оппозицией, на которую автор обращает внимание на удивление нечасто, не занимаясь излишней политизацией философского исследования; но в случае с О. Мандельштамом эта, дополнительная оппозиция проступает отчётливо – «поэт/власть» [4, с. 451, 454, 462].

Таким образом, бинарность русской культуры, ставшая уже признанным её свойством, о котором особенно последовательно размышляет И. Кондаков [3], у С. Никольского в избранной им философской парадигме выявляется убедительно и разносторонне.

Русское мировоззрение, по С. Никольскому, контекстуально вписано в жизнь-творчество-тексты. Русские писатели составляют контекст друг для друга не только в прямом их контакте или в процессе преемственности, но в понимании исследо-

вателя. Платоновский контекст – чрезвычайно широк и объёмен, включая в себя Тургенева, Чернышевского, Достоевского, Островского, Чехова, Горького (список взят из текста книги – [4, с. 514]). Чеховский контекст, без прямого упоминания автором книги, через проблематику и тематизм, по нашему мнению, высвечивается в связи с Л. Толстым – в вопросе взаимодействия человека и природы [4, с. 382], в связи со славянофилами – в связи с отсутствием идеализации «благонравных» крестьян [4, с. 388] и, по контрасту, в связи со специально названным в книге А. Герценом [4, с. 393].

Контекстом русского мировоззрения, с точки зрения С. Никольского, являются упоминаемые им «новые герои» [4, с. 122], к которым автор относит Рудина и Лаврецкого, хотя, заметим попутно, между этими персонажами разница – социально-психологическая, нравственная, – столь же велика как между ними обоими и традиционно называемыми «новыми людьми», тоже, между прочим, их современниками и созданием тургеневских современников. В книге хорошо заметно, что её автор не испытывает традиционного пиетета перед «новыми людьми», конструируя бесчеловечный мир, в котором для «старых людей» места нет, поэтому «ответ на вопрос об их будущем предельно ясен» [4, с. 429], более того, пафос его книги содержит вполне решительное обвинение тенденции «насилия в отношениях государства и общества» [4, с. 431].

Для научных штудий вполне органична *полемическая направленность*, которую достаточно заметно реализует С. Никольский. Он сам, правда, не всегда подчёркивая это, полемизирует как с устоявшимися мнениями и идеями, так и с конкретными авторами. Но и с его суждениями и позициями есть необходимость вступить в полемику.

Полемичность работы философа выражается в подходах к общеизвестным и в анализе менее известных литературных концепций и коллизий. Полагаю, что самым неожиданным поворотом мысли становится критика славянофильства, которое автором рассматривается как существенное проявление русского мировоззрения, что и сам автор подчёркивает в противовес мнению Н. Бердяева о первой попытке «нашего самосознания» [4, с. 61]. Но текст книги С. Никольского совершенно очевидно показывает принципиальное несогласие автора с идиллическим восприятием славянофильства как истинного и подлинного выражения русского мировоззрения, поскольку современный автор, наряду с прочим, видит в славянофильстве и оправдание «эксплуатации одной части народа другой» под покровом патриархальности [4, с. 65];

показывает недовольство подменой научных доказательств медитативными рассуждениями бытия великой Руси времен Ивана Грозного и Ивана III [4, с. 69] и вовсе не видит у А. Хомякова убедительного «понимания России и русских как нечто позитивное» [4, с. 71]; высказывает сомнения, полемизируя с И. Киреевским, в том, что в России когда-либо было «золотое», по славянофильским канонам, время [4, с. 77]. И, что особенно интересно, С. Никольский, вопреки едва ли не эзотерическим тенденциям понимания славянофильства, акцентирует «земной» характер своих антиславянофильских доводов, соотнося русское мировоззрение с проблематикой общинной собственности, тормозящей, по его мнению, «экономический прогресс» [4, с. 79].

Если по славянофилам полемика С. Никольского носит локальный характер, то по Лермонтову она оказывается центральным направлением авторской мысли. Исследователь начинает свой текст оценкой, согласно которой «философское содержание его поэзии и прозы далеко от адекватного осмысления» [4, с. 99], полемизирует с одним из классиков отечественного лермонтоведения У. Фохтом в связи с попыткой соотнести сверхъестественного романтического Демона с одной из групп современного общества [4, с. 101], пытается реализовать в связи с этой поэмой и этим персонажем то, что можно назвать «дискурсом Демона», отказываясь от социально-критического анализа творчества Лермонтова.

Не стесняется современный исследователь подчеркнуть прагматический, лишённый философской фундированности подход В. Ленина к фигуре и творчеству А. Герцена [4, с. 85], подчёркивая ходом своих рассуждений, что Герцен был поводом, но не объектом ленинских высказываний. Представляется очевидным, что для С. Никольского отношение к Герцену и интерпретация проблемы «Герцен» – это способ подчеркнуть обеднёность и даже искажённость традиционных, социально-политически детерминированных подходов к художественной и интеллектуальной деятельности.

Нельзя сказать, что С. Никольский демонстрирует постоянный и непреодолимый интерес к социальной (социально-политической) проблематике русской литературы. Но он и не чуждается социальности, гипертрофированность которой была обязательным фоном изучения русской литературы в прошлые десятилетия. В некоторых случаях полемика звучит достаточно резко, как в случае с упоминанием о советском литературоведении, которое, следуя ленинским заветам в понимании творчества Л. Толстого, уделяло особое

внимание «лживости некоторых современных ему общественных институтов» [4, с. 257]. Такого же рода полемичность просматривается и в реплике относительно тургеневского Базарова, который «не столько жил, сколько болел нигилизмом», причём автор книги подчёркивает своё противостояние «известным критико-литературоведческим заключениям о герое романа» [4, с. 136]. Кстати, здесь же, в главе, посвящённой Тургеневу, С. Никольский возражает привычному для советской России представлению об освобождении от крепостничества как несомненном благе [4, с. 137], но в этом своём полемическом суждении он явно движется в направлении, характерном для самой русской классической литературы. Вспомним, что в чеховском «Вишнёвом саде» об отмене крепостного права говорится как о «беде», и это была не просто реплика бывшего крепостного Фирса, но самого Чехова – интеллектуала и при этом внука крепостного.

Помимо полемики, предложенной самим С. Никольским в отношении ранее сложившихся представлений и мнений, полемика, вернее, вопросительный модус, формирует в определённой степени его текст и у читателя. Надо отметить, что философское сочинение не содержит резких в своей категоричности суждений; категоричность вообще не присуща этому сочинению, твёрдость и определённость суждений – да, стремление найти подчас нетривиальные доказательства – тоже да, но не резкая однозначность. Пожалуй, одно из немногих, но всё же категоричных суждений касается писателя, который и сам располагал к категоричности и предполагал её своими жёсткими текстами, – А. Платонова. Начиная разговор о нём, С. Никольский утверждает в отношении взаимодействия писателя с советской властью: «в стране не было более глубокого её критика, чем он» [4, с. 473]. Полагаю, что – были, в разных эстетических системах, на разном жизненном материале, в разное время, но, очевидно, глубокими критиками были и М. Булгаков, и Е. Замятин, и А. и Б. Стругацкие, и В. Тендряков, и А. Солженицын, и, как это ни покажется странным, В. Маяковский. Говорю это не потому, что недостаёт внимания к этим и другим писателям в книге С. Никольского, а потому, что выделяя Платонова именно как критика власти, автор отодвигает на второй план другие его особенности, которые, на самом деле и обнаружены, и тонко сформулированы (например, о речи персонажей Платонова, не просто своеобразной, что общеизвестно, но о «нечеловеческой», о задушенном голосе, которые воспринимается как «инобытие молчания» [4, с. 470-471]).

Есть и ещё один вопрос, который рассмотрен С. Никольским если и не категорично, то в решительном следовании традиции, с которой по другим поводам автор книги и сам полемизирует. Вопрос, который может рассматриваться иначе, чем это сделано в книге С. Никольского, касается так называемого «положительного героя» и, в частности, «делового человека» или даже «человека труда» у А. Чехова. Совершенно верно, как это было сделано в лучших чеховских спектаклях второй половины XX и начала XXI вв. (например, в постановках А. Кончаловского), автор книги отмечает характерное для всех чеховских пьес настроение – «ожидание ухода, отъезда, оставления прежнего привычного мира» [4, с. 402]. Но всё же отчасти автор остаётся в рамках давних околочеховских клише, согласно которым Тригорин – неталантливый ремесленник (а ведь Чехов заставляет Треплева восхищаться присущим ему мастерством художественной детали, когда «у него на плотине горлышко разбитой бутылки»), а доктор Астров осуществляет «упорный и самоотверженный труд на благо людей» [4, с. 403] (тогда как на самом деле это человек, утративший цель и радость жизни, о чём и сам говорит, и Елена Андреевна и Соня в нём чувствуют). Зная упомянутый опыт театральные интерпретаций, мы уверенно утверждаем спорность столь однозначных «оценок», выставляемых чеховским персонажам вопреки осознанию парадоксальной полифоничности его пьес.

Не затрагиваем детали, которые могут обсуждаться, скорее, в режиме личной беседы, но отметим один вопрос, миновать который невозможно. При широком охвате персон русской литературы, причём явно – из первого её ряда, – при том, что некоторые из писателей с разных сторон предстают даже не в одной, а в двух главах (Ф. Достоевский, А. Чехов), подбор классиков XIX имеет три незаполненные ниши. Среди носителей и аналитиков русского мировоззрения в книге не видно трёх великих персон: «гармоничного» А. Пушкина, «гротескного» Н. Гоголя, «рубежного» М. Горького. И, более того: несмотря на постоянно присутствующий в книге контекст творчества тех, кому посвящены отдельные главы, свободное обращение с разными пластами художественной и общественной жизни, несмотря на «перекрестное» упоминание героев одних глав в других главах (так, А. Платонову не только посвящена самостоятельная глава, он, явно один из самых значимых для автора книги русских писателей, присутствует и в главе, посвящённой А. Ахматовой), Пушкин, Гоголь и Горький почти не упоминаются даже там, где речь идёт об эпохе их жизни. Конечно, писатели эти вряд ли «нелюбимые», ско-

рее, слишком «объёмные». Но разве менее объёмны Достоевский, Толстой или Чехов? Естественно, право выбора материала для анализа полностью принадлежит автору, но даже при самом внимательном прочтении книги не удалось найти объяснения или хотя бы краткого комментария в отношении этой своего рода «зоны умолчания».

Соглашаясь или полемизируя с автором книги о философском модусе русской литературы, мы заново погружаемся в «многосмыслие» отечественной классики. Она продолжает питать отечественную культуру и с благодарностью откликается на активность новой интерпретации и интеллектуального дискурса.

Список литературы:

1. Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. 368 с.
2. Злотникова Т.С. Время «Ч» (Культурный опыт А.П. Чехова. А.П. Чехов в культурном опыте 1887-2007 гг.). М.-Ярославль: ЯГПУ, 2007. 259 с.
3. Кондаков И.В. Культура России. Часть 1. Русская культура: краткий очерки истории и теории. М.: Книжный дом «Университет», 2000. С. 56-62, 208-216.
4. Никольский С.А. Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX-XX вв. М.: Голос, 2015. 536 с.
5. Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. О писателях и писательстве. М.: Республика, 1996. 702 с.

References (transliterated):

1. Berdyaev N.A. O russkikh klassikakh. M.: Vysshaya shkola, 1993. 368 s.
2. Zlotnikova T.S. Vremya «Ch» (Kul'turnyi opyt A.P. Chekhova. A.P. Chekhov v kul'turnom opyte 1887-2007 gg.) Nauchnaya monografiya. M.-Yaroslavl': YaGPU, 2007. 259 s.
3. Kondakov I.V. Kul'tura Rossii. Chast' 1. Russkaya kul'tura: kratkii ocherki istorii i teorii. M.: Knizhnyi dom «Universitet», 2000. S. 56-62, 208-216.
4. Nikol'skii S.A. Gorizonty smyslov. Filosofskie interpretatsii otechestvennoi literatury XIX-XX vv. M.: Golos, 2015. 536 s.
5. Rozanov V.V. Legenda o Velikom inkvizitore F.M. Dostoevskogo. Literaturnye ocherki. O pisatelyakh i pisatel'stve. M.: Respublika, 1996. 702 s.